

ВАЛЕНТИН СЕМЁНОВ

СВАДЕБНЫЕ  
САМОЛЁТЫ

РАССКАЗ

*Памяти отца посвящаю*

**В**есь в глубоких снегах и под чёрным ледяным небом город на берегу Амура оцепенел от мороза и затих. Казалось, никакой возможности для жизни не было в этом вселенском холоде, но под крышами домов она шла своим немудрёным ходом, и от прочных каменных стен струилось слабое и непрерывное тепло.

Ах, какой мороз разразился в эту новогоднюю ночь», и голубые тени застыли в складках сугробов, и смёрзшаяся бесконечность тайги окружила ничтожный кусочек света и тепла! И тишина безмолвствовала. И всё не двигалось и как будто застыло в этих формах и линиях. И откуда-то из дальних сопok медленно приплыл в город тяжкий и тревожный гул. Прошёл над городом, отзываясь слабым эхом в задрезжавших стёклах, и исчез.

— Тиха-а! — крикнул отец, весь напрягшись и глядя сузившимися глазами в чёрное окно.

Все умолкли. Лётчики повернули лица к окну, зажав в больших ладонях стаканы со спиртом, и улыбки медленно сходили с их обветренных губ, и профили их тяжелели от возникшего предчувствия беды.

Кто-то из женщин прошептал: «О, господи!»

Отец, опрокинув стул, ринулся к телефону, а тот уже пронзительно трещал ему навстречу; и все лётчики уже сгрудились у тумбочки и тянули круглые стриженные головы к мембране.

А в центре стоял отец, двумя руками вцепившись в трубку, и лицо его исказилось и постарело. Потом он закрыл лицо руками и сказал глухо:

— Валька Лыкашёв разбился!..

Тина закричала, и я проснулся от её невыносимого горестного крика... Равнодушное и жестокое время... Вот я уже забываю и с большим трудом могу только смутно представить себе сейчас, какие они были тогда, эти люди, окружавшие моё детство.

Осталась только сердечная память о них, а лица поразмыты временем, и лишь иногда отрывочные, как бы запечатлённые на стоп-кадре их облики вдруг вспыхнут в сознании и потянут, потянут за собой томительную вереницу смутных воспоминаний...

В прошлом году в самом начале лета я был в Одессе. И в один из жарких дней июня валялся, размлевающий от одуряющего солнца и непрекращающегося шума прибоя, на одном из одесских пляжей.

Из моря, по колено в изумрудной воде, выходила девушка и, держась за локоть идущего рядом с ней парня, снимала с головы голубую купальную шапочку.

Она сняла её и встряхнула головой, разметав чёрные, коротко остриженные волосы. Подняв лицо к парню, она что-то говорила ему, смеясь...

Вот и всё. Только бывало ли у вас совершенно фантастическое ощущение мгновенного смещения времени, когда кажется, что всё, что вы сейчас видите и чувствуете, происходит не сейчас, а много времени до этого? Всё то же, всё. Но только это когда-то было, давно, было так же ярко и отчётливо, напрочь забылось вами потом и вдруг зримо, до осязаемости вспомнилось.

И вот это движение руки девушки, поднятой к голове, и поворот её головы, и маленькая белая ладонь, лежащая на сильной смуглой руке парня, и застывший полёт коротких чёрных волос — всё это я уже видел.

Из волны Амура за много тысяч километров от этого моря, тридцать с лишним лет назад так же выходила нанайка Тина, держась за локоть Вальки Лыкашёва, и так же было поднято к нему её лицо, и она, так же смеясь, что-то говорила ему.

Наверное, это было моё первое открытие человеческой красоты, неосознанное, но почувствованное маленьким сердцем, потому что

оно зашлось радостью предстоящего ему долгого бытия в мире этих удивительно красивых и сильных людей, дрогнуло от переизбытка благодарности, и я помчался по речному песку навстречу им, крича восторженно:

— Тетя Тина-а-а! Дядя Валя-а-а!

Лыкашѐв подхватил меня и поднял вверх, Тина, ловила, хохоча, мои ноги, я визжал и брыкался, и мы все трое упали в воду, и брызги, сверкая на солнце, поднялись вверх. Лѣтчики улыбались, глядя на нас, и, поводя сильными плечами, нежились на песке.

Мать с отцом плавали далеко в Амуре, и течение несло их на жѣлтую узкую косу. На эту длинную полосу песка однажды, молча вывалившись из-за сопки и срезая кренящимися крыльями гребни амурских волн, рухнул большой самолѣт, пропахал глубокую борозду в мокром песке и задымился.

Оцепенев от суеверного ужаса, нанайцы видели, как из кабины самолѣта медленно выбрался человек, свалился на песок, встал и, шатаясь, закрыв лицо руками, побежал прочь; потом вернулся к самолѣту и исчез уже в густом чѣрном дыму. И снова появился, волоча на спине другого человека. Он торопился, падал, вставал, вновь поднимал товарища и тащил его за собой.

Тина тоже видела всё это из окна маленькой школы. Когда она бежала по берегу навстречу тем, двоим, самолѣт взорвался, окутавшись огнѣм и чѣрным дымом, тугая волна бросила Тину на песок. Но она тут же вскочила и снова изо всех сил бежала к тем людям, упавшим с неба, потому что они больше не поднимались после взрыва.

Они лежали рядом, один из них медленными движениями рук ощупывал себя и улыбался, другой лежал неподвижно, уткнувшись лицом в песок.

Тот, что улыбался, говорил прерывистым шѣпотом:

— Валька, родной, друг ты мой, спасибо... вытащил... я тебя... по гроб... не забуду... а я уже думал: всё... и плакал, когда мы падали... веришь... нет...

Он улыбался, глядя заплаканными глазами в небо:

— А теперь мы живы... слышишь... Валька... смотри... девушка... красивая какая...

Это был мой отец.

Тина встала на колени подле того, второго, что лежал лицом в песке, и с трудом перевернула его. Тина громко запричитала от страха и от невыносимой жалости к этому большому и такому беспомощному сейчас человеку. Она плакала и говорила по-нанайски слова, которые её племя создало, чтобы выразить большое горе и великую жалость к чужому несчастью.

На поросшем сухой травой откосе, поодаль, неподвижно стояли старые нанайцы, зажав в зу-

бах потухшие трубки. Их сморщенные плоские лица были обращены к сопкам, и в выцветших слезящихся глазах покоилась законченная, одним им понятная мудрость.

В посѣлке глухо застучал бубен. Это проснулся старый плешивый шаман. Он был добрый старик, сразу полюбил Вальку Лыкашѐва и с величайшим усердием выгонял духов из покалеченного тела своего молодого друга. Валька лежал на высоких подушках с забинтованной головой и толстой белой ногой, привязанной верѣвкой к низкому потолку и весело смеялся. И я тоже смеялся, мне не был страшен этот пыхтящий и бормочущий старик, который к тому же стал быстро уставать, охотно прекращал свои неуклюжие прыжки и смеялся вместе с нами. А ещё он любил выпить. «Полечив» Вальку и отдышавшись, он садился на табурет возле больного и визгливым голосом начинал петь на невообразимом русско-нанайском наречии. Старик был хитѣр и плѣл что-то о Тине, о том, что такую жену нигде не сыскать, как не найти ни одного молодого рыбака, не мечтавшего привести в дом такую девушку. Он хитро подмигивал мне, я, ничего не понимая, смеялся, а Тина краснела, но преданно смотрела на Вальку и всё ходила и ходила вокруг него, поправляя то подушку, то одеяло. Кончались эти песни тем, что Валька давал старику денег, и через некоторое время тот появлялся уже с бутылкой. Выпив и закусив варѣной горбушей, старик совсем размякал от избытка добрых чувств и только смотрел на Вальку и говорил, что врачи правильно сделали, оставив лѣтчика здесь, в этой избушке, что они с Тиной быстро поставят его на ноги, что хорошо ему сейчас на душе, есть кому отдать оставшиеся в сердце запасы любви, что какой хороший Валька: разрешает ему иногда пошаманить. Ведь никому вреда нет от этого, а он больше ничего делать не может... И умолкал, глядя перед собой.

Такая бесконечная печаль стояла в глазах этого вечного нанайца, великий Амур шумел за окном, сильный ветер гнул огромную тайгу, и я затихал совсем, прижавшись к потрескивающей печурке. Валька спал, у ног его сидела Тина, улыбаясь чему-то своему, медленно расчѣсывая коротко стриженные чѣрные волосы. Чего-то ждала она в жизни, и это было связано с молодым и сильным лѣтчиком, упавшим к ней с неба, и тысячелетняя кровь предков разрывала её робкое сердце непонятной тоской и волнением. Так молодая птица кричит, в первый раз пускаясь в дальний полѣт...

Уже много лет спустя, вспоминая Вальку Лыкашѐва и Тину, седой отец мой говорил всегда о необычайной силе этой любви, коротко вспыхнувшей в дальней суровой тайге, в ледяных сумерках великой войны. Лицо его всегда в эти минуты разглаживала торжественная грустная

улыбка, а мать моя молчала и опускала глаза или находила какое-нибудь дело, чтобы оставить своего мужа одного.

А отец говорил мне, подростку, только начинающему ощущать смутное волнение перед образом женщины, и юноше, уже бегающему на свидания к девушкам, и уже взрослому женатому мужчине, — он говорил о великой ценности этого дара природы...

Свадьба была в августе сорок второго, когда Амур разлился. Лётчики собирались у нас и долго о чем-то шептались. Отец знал, что ему влетит за это от начальства, но согласился.

До посёлка, где жила Тина, недалеко. Минут десять лета. Свадьба была в доме невесты. В два часа все были в сборе, стол был накрыт, мать с женщинами делали последние дела на кухне, а двое лётчиков прибывали над крыльцом дома скрещенные крест-накрест рыбацкое весло и пропеллер.

Раскосые мальчишки и девчонки, ученики Тины, выстроились попарно, в галстуках, с горнистом и барабанщиком впереди. На откосе изваяниями застыли с неизменными трубками в зубах старые нанайцы.

Отец вместе с председателем рыболовецкого колхоза стоял в центре всего этого живописного построения.

Амур был необычайно тих и спокоен и ярко блеснул под солнцем, а оно уже нависло над дальними сопками, замкнувшими горизонт, и било всем прямо в глаза. И поэтому не сразу увидели, как возникли в небе, далеко развернувшись от солнца, спускаясь к Амуру, два маленьких гидроплана.

Но вот они уже стали видны, вот они уже неслись крыло о крыло над молчаливой рекой и вдруг коснулись маленькими лыжами воды и, яростно взревя моторами, скрылись в туче ослепительных брызг. Потом, тихо и торжественно покачиваясь на волнах, они встали у самого берега, рядом с домом Тины.

И все увидели, что в задней кабине первого самолёта сидела невеста, а в задней кабине второго — жених. От самолётов до берега осталось метров тридцать воды, но уже спешили к ним две нанайские плоскодонки с двумя молодыми рыбаками на вёслах.

И лётчики, которые вели свадебные самолёты, бережно с рук на руки передали рыбакам молодых.

Потом Тина и Валька Лыкашёв рука об руку шли по песчаному берегу к дому своего счастья. Сзади шли два русских лётчика и два нанайца-рыбака.

Невеста была в ярко расшитом нанайском платье, жених в чёрном костюме и при галстуке. И такой маленькой и хрупкой казалась растерянная и бледная Тина рядом с огромным,

счастливым и не скрывающим своего счастья, неудержимо улыбающимся Валькой.

Они подходили всё ближе и ближе, под охрипшие звуки горна и стук барабана, и запел вдруг в руках старого шамана бубен, необычайно мелодично и торжественно, а шаман стоял неподвижно, не сводя горящих глаз с молодых, и только старые сморщенные руки его делали что-то невообразимое с потрёпанным бубном. Все сдвинулись со своих мест и образовали живой коридор и что-то говорили жениху и невесте, стараясь перекричать друг друга. Уже поднялись молодые на крыльцо и хотели переступить порог, как с откоса вдруг донесся пронзительный крик. Тина испуганно и резко обернулась. Какая-то старуха нанайка кричала, яростно жестикулируя. А остальные старики стояли так же неподвижно, с погасшими трубками во рту и смотрели, казалось, поверх голов волнующихся и радостных гостей.

Тина сбежала с крыльца, гости расступились, и Тина пошла к старикам. Их разделяла небольшая полоска высохшей травы, когда Тина остановилась напротив. Она стала так же резко и гортанно что-то кричать им, показывая на свое сердце, на толпу гостей у её дома, на небо, на сопки, на большой город, дымящийся трубами на горизонте. Старуха отвернулась. Остальные молчали. Тина вернулась к Вальке, взяла его под руку и так посмотрела ему в глаза и так улыбнулась ему, что лётчики, заорав от восторга, подняли жениха и невесту на руки и внесли их в дом.

И началась свадьба. Она продолжалась всю ночь...

...Конец этой истории рассказывать невыносимо.

Помню залитое слезами бледное лицо отца и красный цвет материи, затянувшей гроб, где лежало то, что осталось от Вальки Лыкашёва, и куда я так и не заглянул: боялся, был слишком мал для этого.

А Тину я просто страшился: так грозна она была в своем горе, маленькая и окаменевшая, она посылала, казалось, проклятие всему миру. Вокруг неё стояли огромные лётчики и рыдали.

Тина сама дописала конец легенды о любви русского лётчика и нанайской девушки. Когда, после похорон, её ненадолго оставили одну, она пришла на берег Амура, прошла немного по его ледяному покрову вплоть до большой полыньи, выбитой рыбаками для своих рыбацких нужд, и вошла в неё. Потом над прорубью так же молча стояло её племя с плоскими лицами и смотрело в сверкающую снегами даль, где видело то, что никто не мог увидеть. Только та старушка нанайка, которая хотела остановить Тину на пороге её счастья, смотрела на чёрную воду Амура, плещущую у её ног, и слёзы текли по её жёлтым и сморщенным щекам...